ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# ЕВРОАЗИАТСКИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ КУЛЬТУРЫ

Под редакцией д-ра филол. наук О.Б. Лебедевой

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2007

*О.Б. Лебедева*

# «Русско-европейский» и «русско-азиатский» тексты А.Н. Радищева: смыслопорождающие функции системы повествовательных жанров

В большом контексте письменного наследия А.Н. Радищева материалы, относящиеся к периоду его сибирской ссылки (дневники путешествия в Сибирь и из Сибири, письма 1790–1796 гг., «Краткое описание Тобольского наместничества», «Письмо о китайском торге», «О человеке, о его смертности и бессмертии», «Сокращенное повествование о приобретении Сибири»), формируют потенциально единый и концептуально целостный текст, который в своем жанровом аспекте находится в сложных перекрестных отношениях с предшествующим творчеством писателя. При этом понятие «путешествие» формирует точку пересечения кажущихся противоположными жанровых структур и то общее основание, на котором выстраиваются их диалогические связи.

Реальная жизнь Радищева изобиловала путешествиями как в западном, так и в восточном направлении. В молодости, отправляясь учиться в Лейпцигский университет, писатель совершил путешествие в Европу. И своего рода «европейским» текстом его творчества стали произведения, написанные до ссылки: «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего», «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву». Их главная идеологема, безусловно генетически укорененная в духовном и визуальном опыте пребывания Радищева в Европе, идеологема духовного освобождения каждого отдельно взятого человека как непременного условия социальной свободы общества, стала основным уроком европейской цивилизации, который русский писатель извлек из своих штудий в Лейпцигском университете, – это обогатило его жизненный опыт представлением о традиционной академической свободе немецких образовательных центров, а также усвоил из философских, политэкономических и социологических трудов французских просветителей, главным образом Ж.-Ж. Руссо и К.А. Гельвеция.

Духовный опыт радищевского пребывания в Европе реализовался в системе преимущественно документальных жанровых форм, абсолютно преобладающих в его художественных текстах; однако же их документализм имеет не столько прямой, сколько символико-метафорический смысл: частное письмо («Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего»), автобиографические записки-мемуары («Житие Федора Васильевича Ушакова») и путевые заметки («Путешествие из Петербурга в Москву») при всем своем несомненном автобио-

графизме, который вернее было бы назвать «автоинтеллектуализмом», все же являются в это время вполне условными стилизациями под документ. Все эти повествовательные формы и жанровые структуры, как разновидности формы «Ich-Erzaehlung», важны Радищеву своим личным характером, который не только обеспечивает интимность контакта авторского сознания с сознанием реципиента, но и служит формальным выражением столь важной для русского мыслителя идеологии персонализма, т.е. имеют не столько эстетическое, сколько идеологическое функциональное назначение, поскольку идеология и эстетика для Радищева в это время абсолютно взаимосвязаны и каждая из этих категорий способна быть формой выражения для другой.

Таким образом, тексты Радищева, базирующиеся на опыте его знакомства с жизнью и культурой Западной Европы, являются не столько открытым, сколько косвенно-европейским текстом: будучи абсолютно лишены каких бы то ни было фактографических материалов и бытовых реалий, маркированных своей принадлежностью топосу Европы, они снимают лишь духовно-идеологический пласт европейской жизни и культуры – и именно он обладает сюжетообразующей функцией. В этом смысле особенно показательно «Житие Федора Васильевича Ушакова», сюжет которого абсолютно реально и автобиографически локализован в европейском топосе, однако в плане сюжетосложения топос этот чисто номинальный: он служит не более чем идеологическим субстратом авторской мысли. В результате «европейский текст» радищевского наследия обнаруживает свою европейскую принадлежность только в своем потенциальном содержании.

Напротив, путешествие в восточном направлении, в Сибирь, породившее, так сказать, «азиатский текст» радищевского письменного наследия, демонстрирует полное и, можно сказать, концептуальное отсутствие эстетических (при резком сокращении идеологических) факторов. Все, что Радищев пишет в ссылке, не выходит за рамки системы чисто документальных жанров, имеющих лишь парциальное отношение к изящной словесности, и строго соответствует жанровым законам эпистолярия, дневников и путевых заметок в их документальном варианте: реальные записки о реальном путешествии, реальные письма к реальным адресатам с реальными просьбами и бытовыми замечаниями, политэкономический трактат и опыт исторического исследования на первый взгляд лишены даже видимости эстетического замысла и лишь изредка содержат высказывания идеологического характера. Однако это только на первый взгляд, потому что уже второй немедленно обнаруживает тождество документальных жанровых форм, в которые Радищев укладывает свои сибирские впечатления, именно тем жанровым фор-

мам, которые стали эстетическим выражением его впечатлений от жизни Западной Европы.

Единственное, что здесь принципиально меняется, – это сюжетно-смысловая доминанта стабильных во всем остальном жанровых структур: если в творчестве Радищева до ссылки абсолютно преобладала патетика переживания, ставшего мыслью, «осердеченная идея», для которой пластические реалии, визуальные впечатления, топографические и этнографические подробности и наблюдения составляли не более чем субстрат выстроенного на их основе духовно-идеологического мирообраза, то в текстах периода сибирской ссылки в область субстрата и потенциала уходит духовный путь идеологического роста, а на первый видимый план повествования выдвигаются именно выстраивающие детализированный географически-бытовой мирообраз реалии, и зачастую они даны только в простом номинативном перечислении, подчеркивающем их особую, самостоятельную ценность.

В самом начале своего сибирского пути Радищев, может быть не до конца сознавая мировоззренчески-декларативный смысл своего высказывания, которое маркирует его новую жизненную позицию, сформулировал эту установку, радикально преобразившую под его пером излюбленные им жанры словесного творчества:

> Когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал в истории земли: песок, глина, камень, все привлекает мое внимание <...>. Но что может рассудок над чувствованием? Я по себе теперь вижу, что разум идет чувствованиям вслед или ничто иное есть, как они[1].

В этой декларации скрыты два ключа к тем жанровым модификациям, которые претерпевают традиционные повествовательные формы Радищева в процессе трансформации, условно говоря, «европейского текста» его письменного наследия в «азиатский», русско-европейского – в русско-сибирский.

Первый ключ – это пояснение причин интенсивности физико-географических и этнографических реалий, преобладающих в мотивном составе сибирских текстов. Сила визуальных впечатлений начитанного в трудах Руссо путешественника, некогда умозрительно реципировавшего из текстов французского философа идею «естественного человека» на лоне натуры, но никогда не жившего такой жизнью и вот теперь впервые столкнувшегося с абсолютно естественной – вплоть до нетронутости – природой и абсолютно естественным – вплоть до дикости –

---

[1] *Радищев А.Н.* Полное собрание сочинений: В 3 т. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 345. Далее тексты Радищева цитируется по этому изданию, за исключением особо оговоренных случаев, с указанием в скобках тома и страницы.

человеком, оказывается настолько велика, что совершенно истребляет из дневниковых заметок Радищева все, что хоть сколько-нибудь напоминает развернутую духовно-идеологическую рефлексию. Типичная мотивная структура дневников путешествия в Сибирь и из Сибири – это топо- и этнографические заметки, выдержанные в номинативно-перечислительной интонации:

> 9 августа – 12 сентября 1791 года. Дорога лесиста, по рекам бор, а между березняк, грунт песчаный. В деревне Колтая живут русские и татары. В 4-х верстах от Томска переезжают Томь. Сия река камениста. У перевоза видна каменная ломка, сланец, аспид, купоросная земля, слои кварцевые. В Томске живут раскольники, татары. Рыбу имеют из Оби. Кожевни, холст продают, набойки делают. Баранки для милостыни (3, *262*).

По дороге к месту ссылки, которая заняла больше года, Радищев получил наглядное представление о масштабах пространства, которое функционировало в сознании среднестатистического жителя Европейской России как абстрактно-умозрительный топоним «Сибирь», если и насыщенный какой-то конкретикой, то в лучшем случае не более чем литературной, такой, например, как отвлеченная риторическая образность торжественных од Ломоносова:

> Хотя всегдашними снегами
> Покрыта северна страна <...>;
> В моей послушности крутятся
> Там Лена, Обь и Енисей,
> Где многие народы тщатся
> Драгих мне в дар ловить зверей;
> Едва покров себе имея,
> Смеются лютости Борея;
> Чудовищам дерзают вслед <...>[2].

Характерно, что круг чтения писателя в период его сравнительно долговременной остановки в Тобольске демонстрирует его осознанное стремление к тому, чтобы откорректировать свои эмпирические наблюдения путем сравнения их с наблюдениями других путешественников по Сибири. В письмах А.Р. Воронцову дважды возникает имя французского путешественника и естествоиспытателя Ж.-Б.-Б. Лессепса: в марте 1791 г. Радищев просит прислать ему в Тобольск книгу «Путешествие Лессепсово по Камчатке и южной стороне Сибири»[3] – и, скорее всего, эта просьба не предшествует чтению, а вызвана состоявшимся знакомством с книгой, потому что уже в апреле этого же года (а в течение од-

---

[2] *Ломоносов М.В.* Избранные произведения. Л., 1986. С. 118, 125-126.

[3] Название книги приведено в редакции ее анонимного русского перевода (М., 1802), который составителями библиографического указателя «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» под ред. П.И. Зайончковского (М., 1976. Т. 1. С. 194) атрибутирован Радищеву.

ного месяца книгу, запрошенную в Тобольск из Петербурга, получить было просто технически невозможно) Радищев сообщает своему корреспонденту:

> <...> я прочел здесь новые книги: «Путешествие Лессепса», которое, действительно, является произведением человека, странствующего на почтовых <...> (3, *362*).

Вполне возможно, что придаточное предложение имеет в виду «Путешествие из Петербурга в Москву» – умозрительное и интеллектуальное странствие по социальным структурам русского общества, композиционно нанизанное на дорогу от Петербурга до Москвы, которые являются в этом случае не столько реальными городами, сколько функциями: столицы государства Российского, древняя и новая, – это метафорический заместитель идеи русской государственности.

Вероятно, именно дихотомия зрительных впечатлений и умозрительных представлений писателя стала психологической основой прежде всего двойной точки зрения на описываемый топос. Как человек, широко начитанный в трудах европейских просветителей, как человек с европейским образованием и даже просто как уроженец и обитатель европейской части России, Радищев, безусловно, смотрел на Сибирь взглядом европейца, извне. С другой стороны, в течение всего своего пребывания в Сибири он до некоторой степени осознавал себя азиатом и местным жителем: во-первых, поскольку он был убежден, что сослан в Сибирь на вечное поселение, а во-вторых, просто потому, что Сибирь была частью Российской империи, и Радищев, даже в статусе ссыльного политического преступника, был все же подданным Российской короны и гражданином своей страны.

Эта двойная точка зрения – европейская и азиатская, извне и изнутри – очень очевидна, например, в этнографических заметках радищевских дневников путешествия в Сибирь и из Сибири – описания местных нравов неизменно заканчиваются соображением о том, что «<...> все, что здесь входит в употребление, заимствуется от несчастных, сюда присылаемых на жительство, и с открытия наместничества, от помещенных приезжих из России в губернском штате» (3, *364*). Подобный взгляд, отчасти дифференцирующий Россию и Сибирь на разные топосы, но отчасти и объединяющий европейскую и азиатскую территории государства, очень хорошо соответствует тому, что Радищев увидел в самих озираемых им сибирских пространствах, по определению двойственных: его восприятие Сибири усваивает дихотомичность, присущую самому сибирскому топосу:

> Издавна не нравилось мне изречение, когда кто говорил: так водится в Сибири; то или другое имеют в Сибири – и все общие изречения о осьмиты-

сячном пространстве верст; теперь нахожу сие вовсе нелепым. Ибо как можно говорить о земле, которой физическое положение представляет столько разнообразностей, которой и нынешнее положение толико же по местам собою различествует, колико различны были перемены, нынешнее состояние ее основавшие; где и политическое положение, и нравственность жителей следуют неминуемо положению естественности; где подле дикости живет просвещение, подле зверства мягкосердие; где черты, пороки от ошибок и злость от остроумия отделяющие, теряются в неизмеримости земель пространства и стуже за 30 градусов? (3, *356*).

И постепенно в таких заметках, вибрирующих между двумя полюсами культурно-топологической самоидентификации их автора, проявляется если не сам путь духовно-интеллектуальной эволюции писателя, то направление этого пути: назревание концептуального идеологического протеста против руссоистской апологии естественного человека[4], который более всего выразится в почти единственном художественном тексте писателя, написанном в период или после сибирской ссылки – «Дневнике одной недели» (если принять гипотезу о сравнительно позднем – от 1795 до 1801 г. времени возникновения этого текста)[5], ср.:

Ах, я сказал бы, что обширность знаний у просвещенных народов оторвала миллионы людей от первобытного счастья, от блаженства естественного состояния, если можно так выразиться, от жизни спокойной и простой, так как принудительный переход из одного состояния в другое, даже в лучшее, дает себя почувствовать с хорошей стороны часто лишь по прошествии столетий, и так же часто ярмо, наложенное изменением состояния, тяготеет еще и на отдаленном поколении, вкушающем уже плоды этих изменений, настолько человек естественный силен в человеке общественном!

Проживая в огромных сибирских лесах, среди диких зверей и племен, часто отличающихся от них только членораздельной речью, силу которой они даже не в состоянии оценить, я думаю, что и сам превращусь в конце концов в счастливого человека по Руссо и начну ходить на четвереньках. Этот г-н Руссо, как мне сейчас кажется, – опасный сочинитель для юношества, опасный отнюдь не своими правилами, как это обычно считают, но тем, что он весьма искусный руководитель в науке чувствительности, а это почтенное качество <...> не стоит подчас и ломаного гроша, так как обычно идет в сочетании с тщеславием. <...> (3, *428–429*).

И если правда, что можно дойти до высшего презрения к адамову роду (чувство, в котором обвиняют покойного прусского короля), то никогда еще не было страны, более его порождающей, чем нами обитаемая. Не думайте, однако, обвинять меня в ненависти к человечеству, вы бы ошиблись! Чем старше я становлюсь, тем более чувствую, что человек есть существо общественное и созданное, чтобы жить в обществе себе подобных (3, *477–478*).

Если же теперь прибавить к этой идеологической декларации излюбленного тезиса Радищева, прозвучавшего со всей силой в «Дневни-

---

[4] См. об этом: *Макогоненко Г.П.* А.Н. Радищев и его время. М., 1956. С. 159-161.

[5] О проблеме датировки «Дневника одной недели см.: *Галаган Г.Я.* Герой и сюжет «Дневника одной недели»: Вопрос о датировке // XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С. 67-71.

ке одной недели», тезиса о необходимости для человека «общежительства»[6], еще и скупые заметки о характере местных жителей, то на втором плане документалистики Радищева четко обозначается конечный пункт духовного пути, проделанного писателем в ссылке.

Характерно, что все эти заметки выстроены Радищевым в компаративном ключе: писатель сравнивает среднестатистические русско-европейский и русско-сибирский варианты национального характера, отмечая в сибирском те черты, которые явно инспирированы местными условиями. Например, любовь сибиряков к лукавству и хвастовству прокомментирована им следующим образом: «Не заложено ли в самой природе вещей, что охотник всегда лгун? Свойство, как говорят, столь присущее курляндским дворянам» (3, *453*). Та же самая каузальная связь между условиями жизни и характером очевидна в замечании о нелюбви местного населения к новшествам и общению с людьми – но рядом с этими естественными соответствиями обнаруживается и парадокс большей, так сказать, гражданской цивилизованности и законопослушности сибирского местного жителя по сравнению с его европейским собратом: «<...> если в России человек из народа мстит, прибегая к физической силе, то сибиряк, желая отомстить, говорит: “я его доеду <...> бумажкою”» (3, *453*), т.е. прибегнув к силе закона.

И если вспомнить лейтмотивную мысль о необходимости заселения Сибири, которая красной нитью проходит через все письменные материалы периода ссылки, то на физический путь писателя в пространстве России очевидно ложится незримая стрелка вектора, обозначающего содержание его духовного пути – окончательное формирование убежденности в преимуществе гражданского права над правом естественным – той самой убежденности, которая стала главным уроком его знакомства с жизнью Западной Европы и со всей силой убедительности высказана им в «Житии Федора Васильевича Ушакова».

Второй ключ цитированной выше мировоззренческой декларации открывает эмоциональную доминанту сибирского текста и, может быть, до некоторой степени поясняет причины исчезновения из него эстетических факторов. «<...> Что может рассудок над чувствованием?» – этот субстанциальный вопрос, бесспорно, порожден такой интенсивностью сенсуальных впечатлений, которая целиком занимает чувства и властно направляет работу разума – строго в духе той сенсуалистской концепции познания (впечатление – эмоция – мысль), которой Радищев был верен всю свою жизнь. Причины, по которым эстетическая позиция писателя в Сибири модифицировалась вышеописанным способом, предельно внятно изложены им в письме А.Р. Воронцову:

---

[6] *Макогоненко Г.П.* Указ. соч. С. 161.

> Но почему же мне не вообразить себя путешественником, который, руководствуясь двумя своими излюбленными страстями – любознательностью и славолюбием, бесстрашно вступает на неизведанные тропы, углубляется в непроходимые леса, переправляется через пропасти, подымается выше ледников и, достигнув назначенного им предела, с удовлетворением созерцает все свои труды и тяготы. <...> Отнесенный к разряду тех, кого Стерн называет «путешественниками поневоле», не пользу поставляю я целью своего путешествия (3, *387*).

Очевидно, что Радищев приписывает ослабление своего творческого воображения своей горестной участи человека, сосланного на вечное поселение и разлученного с дорогими ему людьми. Думается, однако, дело не только в этом.

Во-первых, в следующем абзаце этого же письма мы находим такой гимн Сибири, который поясняет сложное эмоциональное состояние писателя, складывающееся как минимум из двух компонентов: с понятным отчаянием невольного путешественника в места не столь отдаленные соседствует столь же понятный восторг мыслящего и просвещенного человека, привыкшего оперировать глобальными историко-социальными категориями:

> Как богата Сибирь своими природными дарами! Какой это мощный край! Нужны еще века, но как только она будет заселена, ей предстоит сыграть великую роль в летописях мира! (3, *387*).

Во-вторых, еще одно письмо к А.Р. Воронцову, более позднее, окончательно проясняет смысл духовной эволюции Радищева, отраженной в жанровой системе его сибирского текста:

> С малолетства жила во мне страсть к дальним путешествиям; мне давно хотелось повидать Сибирь. Желание мое исполнилось, хотя и весьма жестоким путем. Чтение описаний великих явлений природы всегда приводило меня в восторг. Читая рассказы путешественников о Неаполе и Сицилии, я взбирался с ними на Везувий и Этну. Сердце мое сжималось при повествовании о бедствиях Калабрии, но втайне я желал ощутить под собой колеблющуюся почву <...>. Последнее мое желание осуществилось, потому что 10 мая, в 4 часа утра, у нас было землетрясение. <...> Если бы по соседству с нами начал действовать вулкан, если бы я увидел поток пылающей лавы, все мои дерзкие пожелания исполнились бы <...> (3, *462–463*).

Возможность претворить умозрительно постигнутое понятие и духовным путем полученное впечатление в зрительное, слуховое, осязательное ощущение, наполнить словесно-эмоциональный образ реальности материально-пластическим переживанием и впечатлением, т.е. проделать обратный путь от рассудка к чувствованию, не могла не восторгать и не занимать без остатка такого, повторимся, убежденного сенсуалиста и страстного поборника правды и знания, каким был А.Н. Радищев. Так окончательно обрисовывается тот духовный потенциал, кото-

рый скрыт под реально-пластическим субстратом радищевского сибирского текста, а заодно – и общее содержание дихотомии Европа – Азия, Европейская Россия – Сибирь в эстетическом восприятии и переживании писателя. Дух и плоть, разум и чувство, идея и материя, знание и инстинкт – первые позиции этих антиномических пар связаны с концептом Европа (Европейская Россия), вторые – с концептом Азия (Сибирь).

И прежде чем подвести итоги (или, может быть, обозначить перспективы) этого маленького исследования, последнее замечание. Кульминационный текст, условно говоря, русско-европейского письменного наследия Радищева, его книга «Путешествие из Петербурга в Москву», содержит в своем финале что-то вроде вопля отчаяния, исторгнутого душой путешественника, который постигнул и реализовал для себя потенциальную возможность духовного освобождения, но вместе с тем увидел и огромное пространство времени, необходимого на то, чтобы в его родной стране этот путь проделал если не каждый человек, то хотя бы большинство его соотечественников: «О, горестная участь многих миллионов! Конец твой скрыт от взора и внучат моих!»[7]

Точно такую же констатацию огромной исторической дистанции, отделяющей естественный уклад жизни и естественного человека Сибири от полной реализации скрытого в них колоссального потенциала, находим и в цитированном выше письме Радищева А.Р. Воронцову: «Нужны еще века, но как только она будет заселена, ей предстоит сыграть великую роль в летописях мира!» (3, *387*). И эмоциональная окраска этого пассажа реального путешественника по реальной Сибири, близкого по своему смыслу к восклицанию вымышленного путешественника по условной политико-социальной карте России, резко отличается от него по своему оптимистично-гимническому тону. Этот семантико-интонационный контрапункт вновь создает своего рода перекрестную рифму русско-европейского и русско-азиатского (сибирского) текстов Радищева, выстраивая взаимоотношения словесных моделей этих топосов по типично диалогическим законам: при всей своей видимой разности это все же именно диалогизирующие структуры, имеющие общую точку пересечения. Ею становятся жанровые модификации одних и тех же повествовательных форм (эпистолярий, итинерарий и дневник), объединяющие своими инвариантными элементами европейский и сибирский тексты радищевского письменного наследия и реализующие один и тот же макросюжетный сквозной мотив огромного нереализованного потенциала.

Если же говорить об итогах (или, может быть, перспективах), то здесь необходимо вспомнить, что фигура и творчество Радищева нахо-

---

[7] *Радищев А.Н.* Сочинения. М., 1988. С. 178.

дятся у истоков колоссальной, но до последнего времени как бы маргинальной традиции той русской словесности, которую можно назвать «изящной» только в терминологическом смысле, поскольку повествуется в ней о совсем не изящных вещах. Тексты, формирующие традицию неподцензурной и запрещенной русской литературы: повествования о каторге и ссылке, письменное наследие невольных и вольных русских путешественников по Сибири от декабристов до Чехова, от Чехова до Солженицына, – при первом же и самом беглом взгляде на свои преобладающие жанровые формы и основополагающие концепты обнаруживают свои генетические истоки именно в перекрестной дихотомии русско-европейского и русско-азиатского текстов Радищева, ставшего своеобразным ядром того обширного интертекста, в который развернется литература вольных и невольных путешествий из европейских центров русской цивилизации в огромную почти до непостижимости и естественную почти до ужаса Сибирь.